

Мой год отдыха и релакса

Автор:

Отесса Мошфег

Мой год отдыха и релакса

Отесса Мошфег

Целый год сна.

Целый год кошмаров, трипов и непрерывного релакса.

Ее, молодую, красивую выпускницу престижного университета с работой «не бей лежачего», все достало. Она должна быть счастлива, но у нее не получается быть счастливой. Ей срочно нужен как минимум год отдыха. У нее есть доступ ко всем существующим таблеткам, прописанным странноватым доктором, и деньгам, полученным по наследству от покойных родителей. Ей нужно вылечить голову и сердце. И решить – куда идти дальше.

«Мой год отдыха и релакса» – это «Обломов» нового поколения, с антидепрессантами, психоаналитиками и токсичными отношениями.

Отесса Мошфег

Мой год отдыха и релакса

© Гилярова И., перевод на русский язык, 2019

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

Посвящаю Люку.

Моему единственному.

Если ты хитер, или богат, или удачлив,

Ты можешь нарушать установленные людьми законы.

Но сокровенные законы души

И всем известные законы природы

Не может нарушить ни один человек,

Нет, не может ни один...

Джони Митчелл. Волк, который живет в Линдси

Глава первая

Когда бы я ни просыпалась, среди ночи или днем, то, шаркая, проходила через светлый мраморный холл своего дома, шлепала один квартал по улице, сворачивала за угол и заходила в бакалейную лавку, которая никогда не закрывалась. Брала два больших кофе со сливками и с шестью порциями сахара, проглатывала первый стакан кофе в лифте, поднимаясь к себе в квартиру, а второй пила не спеша – смотрела фильмы, грызла мелкое печенье в виде фигурок зверушек и принимала тразодон, и амбиен, и нембутал, пока не засыпала снова. Так я утратила представление о времени. Шли дни. Недели. Минуло несколько месяцев. Иногда, впрочем, я заказывала что-нибудь из тайского ресторана, находившегося на противоположной стороне улицы, или салат с тунцом из гастронома на Первой авеню. Я пробуждалась и обнаруживала в сотовом голосовые сообщения из парикмахерских или спа-салонов, подтверждавших время моего визита. Видимо, я записывалась к ним в полусне.

Я добросовестно звонила и все отменяла; я ненавидела это делать, поскольку ненавидела разговаривать с людьми.

В самом начале этой фазы я меняла постельное белье раз в неделю и отправляла в стирку грязное. Меня успокаивало шуршание рваных пластиковых мешков на сквозняке в гостиной. Я любила вдыхать запах свежих простыней, когда засыпала на софе. Но через какое-то время мне показалось слишком хлопотным собирать грязное белье, одежду и запихивать в бельевого мешок. Урчание же моей собственной стиральной машины тревожило сон. Тогда я стала просто выбрасывать свои грязные трусики. Все мое старое нижнее белье почему-то напоминало мне о Треворе. Одно время меня доставала назойливая сеть «Виктория секрет» – оттуда в прозрачном пластике присылали сексуальные тонги цвета фуксии или лайма и ночные рубашки в стиле тедди или беби-долл. Я запихивала эти маленькие упаковки в шкаф и ходила без нижнего белья. Случайная доставка (я не помнила, чтобы делала заказ) от «Барни» или «Сакса» обеспечила меня мужскими пижамами и многим другим: кашемировыми носками, футболками с графическим узором и дизайнерскими джинсами.

Я принимала душ от силы раз в неделю. Я перестала выщипывать брови, осветлять волосы, перестала делать эпиляцию воском, перестала причесываться. Никаких увлажняющих кремов и скрабов. Никакого бритья. Я нечасто выползала из квартиры. Я подключила автоплатеж для всех своих счетов. Я заранее перевела годовой налог на недвижимость за свою квартиру и за старый дом моих умерших родителей. Деньги от арендаторов этого дома каждый месяц поступали на мой текущий расчетный счет. Я числилась безработной, каждую неделю звонила в специальную роботизированную службу и нажимала цифру 1, что означало ответ «да» на стандартный вопрос, действительно ли я пыталась найти работу. Пособия хватало на покрытие требующейся от меня суммы на оплату всех лекарств и на кофе из бакалейной лавки. Плюс к этому еще существовали инвестиционные средства. Финансовый консультант моего покойного отца следил за ними и присылал ежеквартальные отчеты, которые я никогда не читала. У меня также была куча денег на сберегательном счету – достаточно, чтобы прожить несколько лет, пока я не предприму что-нибудь кардинальное. Помимо всего, я могла воспользоваться внушительным кредитом по карте «Виза». Так что причин беспокоиться о деньгах не было.

Я вошла в «спящий режим» в середине июня 2000 года. Мне было двадцать шесть лет. Сквозь сломанную планку жалюзи я видела, как умирало лето и

наползала холодная и серая осень. Мои мышцы усыхали. Простыни на постели пожелтели, хотя обычно я засыпала перед телевизором на софе с обивкой в сине-белую полоску. Когда-то я купила эту софу в высококлассном салоне «Потери барн», а теперь она стала продавленной, и ее покрывали пятна пота и кофе.

В часы бодрствования я почти ничего не делала, только смотрела фильмы. Я не могла смотреть обычные телепрограммы. Особенно в самом начале. Телек слишком будоражил меня, я, словно маньячка, хватала пульт, щелкала кнопки каналов, хмурилась и злилась. И ничего не могла с собой поделаться. Единственные новости, которые я была в состоянии читать, – это сенсационные заголовки в местных газетах, валявшихся в бакалейной лавке. Я быстро просматривала их, пока платила за кофе. Буш против Гора в президентской гонке, умер кто-то важный, похищен ребенок, сенатор стырил деньги, известный спортсмен бросил беременную жену. В Нью-Йорке что-то происходило – там всегда что-то происходит, – но это никак не касалось меня. Для меня существовало лишь блаженство спячки, а реальность отступала на задний план и затрагивала мое сознание так же мимолетно, как фильм или случайное сновидение. Ведь очень легко игнорировать то, что тебя не заботит. Бастовали служащие подземки. Налетел и выдохся ураган. Мне все равно. Город могли захватить инопланетяне или тучи саранчи, и я заметила бы это, но меня подобное совершенно не тронуло бы.

Если мне требовались новые пилюли, я выбиралась в аптеку «Райт эйд», что в трех кварталах от дома. Болезненное мероприятие. Я шла по Первой авеню, и все во мне сжималось. Я была словно новорожденный ребенок – мне причиняли боль свет и воздух, весь мир казался враждебным, все резало глаза. Я полагалась на алкоголь только в дни таких вылазок – стаканчик водки перед выходом, потом я шла мимо маленьких бистро, кафешек и лавок, куда заглядывала прежде, когда еще делала вид, будто веду нормальную жизнь. Во всех прочих ситуациях я старалась ограничивать свои передвижения радиусом одного квартала от моей квартиры.

В бакалейной лавочке работали молодые египтяне. Помимо моего психиатра доктора Таттл, подруги Ривы и консьержей в моем доме, египтяне были единственными, кого я регулярно видела. Все они были в какой-то степени красивыми, а некоторые даже очень: квадратные подбородки, черные брови-гусеницы, орлиный взор. Их было с полдюжины – скорее всего, родные братья или кузены. Их стиль жизни меня отталкивал. Они носили футболки, короткие

кожаные куртки, кресты на золотых цепях и слушали поп-музыку по радио Z100. И у них не наблюдалось абсолютно никакого чувства юмора. После моего переезда в этот квартал они поначалу заигрывали со мной, причем весьма навязчиво. Но когда я начала появляться с непромытыми глазами и корками на губах в уголках губ, они перестали мной интересоваться.

– У тебя тут что-то прилипло, – сообщил мне однажды утром один из этих египтян, стоявший за прилавком, и длинными коричневыми пальцами указал на свой подбородок. Я только отмахнулась. Позже я обнаружила, что на моем лице коркой запеклась зубная паста.

Несколько месяцев египтяне вяло, полусонно опекали меня, а потом стали звать меня «босс» и с готовностью принимали мои пятьдесят центов, когда я просила продать одну сигарету, что делала довольно часто. Я могла бы ходить за кофе в другие места, выбор велик, но мне нравилась эта лавка. Она находилась близко, кофе там был довольно плохой, но мне не хотелось сталкиваться с людьми, заказывающими бриоши или латте без пены. Здесь не было никаких сопливых детишек или шведских гувернанток. Никаких стерильных профессионалов, никаких влюбленных парочек. Кофе в этой лавке предназначался для рабочего класса: консьержей и разносчиков, водителей автобусов и экономок. Воздух там был тяжелым от запаха дешевых чистящих средств и сырости. Я могла облакочиваться на запотевшие морозильные камеры с мороженым, леденцами на палочке и пластиковыми стаканчиками со льдом. Над прилавком, за дверцами из прозрачного плексигласа, хранилась жвачка и сладости. Тут не менялось ничего: аккуратные ряды сигарет, рулоны скретч-карт, двадцать брендов бутилированной воды, пиво, хлеб для сэндвичей, отделение с мясными продуктами и сыром, которые никогда никто не покупал, лоток с черствыми португальскими роллами, корзинка с упакованными в пластик фруктами, целая стена журналов, которых я избегала. Я не хотела ничего читать, кроме газетных заголовков. Я шарахалась от всего, что могло затронуть мой интеллект либо вызвать у меня зависть и волнение. Я жила, зарыв голову в песок.

Время от времени у меня в квартире появлялась Рива с бутылкой вина и заявляла, что хочет составить мне компанию. Ее мать умирала от рака. Это было одной из причин, почему мне не хотелось ее видеть.

– Ты забыла, что я приеду? – вопрошала Рива, протискиваясь мимо меня в гостиную, и включала свет. – Ведь мы договорились вчера, неужели не помнишь?

Мне нравилось звонить Риве, когда начинал действовать амбиен, либо солфотон, либо что-нибудь еще. По ее словам, я хотела говорить с ней о Харрисоне Форде или Вупи Голдберг, которая ей тоже нравилась.

– Вчера вечером ты рассказала целиком сюжет «Неукротимого». Ты изобразила сцену, где они едут в авто, ну, с кокаином. Никак не могла остановиться.

– Эмманюэль Сенье там потрясающая.

– Вчера ты мне именно это и говорила.

При появлении Ривы я испытывала облегчение и раздражение одновременно. Вероятно, так чувствует себя человек, когда кто-то приходит к нему, когда он уже почти совершил самоубийство. Нет, о самоубийстве я не помышляла. На самом деле мое поведение было актом самосохранения. Так я надеялась спасти себе жизнь.

– Немедленно марш под душ, – говорила Рива, направляясь на кухню. – А я выброшу мусор.

Я любила Риву, но она мне больше не нравилась. Мы с ней дружили с колледжа, достаточно, чтобы у нас имелась общая история, сложный электрический контур из неприязни, воспоминаний, ревности, отказов и нескольких платьев, которые я дала ей поносить и которые она обещала отдать в чистку и вернуть, но так никогда и не вернула. Рива работала старшим помощником в страховой брокерской фирме в Мидтауне. На ее шее сидело красное родимое пятно в форме Флориды. Она была единственным ребенком в семье, увлекалась фитнесом, жевала жвачку, что обеспечивало ей дисфункцию челюсти и дыхание, пахнущее корицей и зеленым яблоком. Она любила заваливаться ко мне, расчищать себе место на кресле, отпускать комментарии насчет состояния квартиры, утверждать, что я еще больше похудела, и жаловаться на свою работу, все время подливая себе вино.

– Никто не понимает, как мне тяжело, – говорила она. – Все считают само собой разумеющимся, что я всегда должна быть жизнерадостной. Между тем эти задницы думают, что могут обращаться как с грязью со всеми, кто стоит ниже них на служебной лестнице. А я должна хихикать, быть милой и рассылать их факсы? Да хрен с ними, чтоб они сдохли! Гореть им в аду!

Рива крутила любовь с ее боссом, мужчиной среднего возраста, с женой и ребенком. Она не утаивала, что страшно втрескалась в него, но старалась скрыть их связь. Как-то раз она показала мне его фото в брошюре их фирмы – высокий, широкоплечий, белая рубашка, застегнутая на все пуговицы, синий галстук, а лицо такое невыразительное, такое скучное, словно у пластикового пупса. У Ривы была слабость к мужикам старше нее, как, впрочем, и у меня. Наши ровесники, утверждала Рива, слишком банальные, слишком эмоциональные, слишком ревнивые. Я могла бы понять ее пренебрежительное отношение к ровесникам, но сама никогда не встречала такого парня. Все мои мужчины, молодые и не очень, были равнодушными и неприветливыми.

– Ты сама холодная, как рыба, вот в чем причина, – объясняла Рива. – Подобное притягивает подобное.

Впрочем, в роли подруги Рива тоже была слишком эмоциональной, банальной и ревнивой, но при этом невероятно скрытной и властной. Она не могла или просто не пыталась понять, почему я все время хотела спать, и она всегда с чувством морального превосходства призывала меня прислушаться к ее критике нездорового образа жизни, за который я так цеплялась. В то лето, когда я впала в спячку, Рива предостерегала меня, что я «испорчу тело и не смогу носить бикини». «Курение убивает». «Тебе надо чаще выходить на свежий воздух». «Достаточно протеина в твоей диете?» И все в том же духе.

– Я не маленькая, Рива.

– Просто я беспокоюсь за тебя. Потому что мне не все равно. Потому что я люблю тебя, – говорила она.

Мы с Ривой познакомились в первый год учебы, и за все это время она ни разу не призналась мне в каком-то своем желании, хотя бы отчасти грубоватом, негламурном, хотя была далека от совершенства. «Она не отличается чистотой лилии», как сказала бы моя мать. Мне давно было известно, что у Ривы склонность к булимии. Я знала, что она мастурбировала электрическим массажером для шеи, потому слишком смущалась и не могла зайти в секс-шоп и купить вибратор. Я знала, что она сидела по уши в долгах еще с колледжа, много лет превышала кредитные лимиты и крада тестеры из отдела косметики в магазине здоровой пищи в Верхнем Вест-Сайде, рядом с ее домом. Я видела наклейки тестеров на разных флакончиках и упаковках в ее огромной

косметичке, которую она вечно таскала с собой, куда бы ни шла. Она была рабыней условностей и мечтала о том, что повышает статус, и для такого места, как Манхэттен, в этом нет ничего удивительного, но меня это особенно раздражало. Именно поэтому мне было трудно ценить ее ум. Буквально одержимая брендами, стремлением «соответствовать», «вписаться», Рива регулярно навевалась в Чайна-таун, чтобы заполучить очередную дешевую подделку новой дизайнерской сумочки. Как-то раз она подарила мне на Рождество кошелек от «Дуни энд Бёрк», а потом купила нам обеим одинаковые поддельные брелоки «Коуч».

По горькой иронии, стремление Ривы быть «классной» всегда ее подводило. Когда-то я пыталась ей втолковать, что вымученное изящество – не изящество, что шарм – это не стиль прически, он либо есть, либо его нет. Чем больше ты стараешься быть стильной, тем более нелепо выглядишь. Ничто так не оскорбляло Риву, как природная красота вроде моей. Когда мы с ней смотрели однажды на видеке «Перед рассветом», она сказала:

– Ты знаешь, что Жюли Дельпи феминистка? Может, поэтому она такая костлявая. Не думаю, что ей дали бы эту роль, будь она американкой. Видишь, какие у нее руки? Здесь никто не потерпит обвислых рук. Ведь это убийственно. Все равно что целлюлит.

– Неужели ты чувствуешь себя счастливой оттого, что у Жюли Дельпи обвисшая кожа на руках? – спросила я.

– Нет, – ответила она, немного подумав. – Счастьем я бы это не назвала. Скорее это удовлетворение.

Зависть была единственным, что Рива, кажется, не считала нужным прятать от меня. С самых первых месяцев нашей дружбы, когда я сообщала ей, что случилось нечто хорошее, в ответ она настолько часто со стоном произносила «как несправедливо», что это превратилось в ее девиз, звучавший в любой ситуации. Эти слова становились мгновенной реакцией на мои высокие итоговые баллы по результатам экзаменов, на новый оттенок губной помады, последнюю подделку дизайнерской вещицы, мою дорогую стрижку. «Как несправедливо». Я в шутку скрещивала пальцы и выставляла их между мной и Ривой, словно защищаясь от ее зависти и злости. Как-то я спросила у нее, не связана ли ее зависть с тем, что она еврейка, и не думает ли она, что мне, с моим англосаксонским происхождением, легче живется.

– Дело не в моем еврействе, – помнится, ответила она. Это происходило ближе к окончанию нашей совместной учебы, когда я попала в список лучших, хоть и пропускала половину занятий, а Рива завалила завершающий тест. – Дело в том, что я жирная. – Но это было неправдой. Вообще-то она была очень хорошенькая.

– По-моему, тебе надо больше заботиться о себе, – заявила она однажды, навестив меня, когда я пребывала в полусонном состоянии. – Знаешь, я не могу это делать за тебя. Что тебе нравится в Вупи Голдберг? Ведь она даже не забавная. Тебе надо смотреть фильмы, которые повысят твоё настроение. Например, с участием Остина Пауэрса. Или Джулии Робертс и Хью Гранта. Ты сейчас вдруг стала, как Вайнона Райдер в «Прерванной жизни». Но на самом деле ты похожа скорее на Анджелину Джоли. Там у нее тоже русые волосы.

Вот как она выражала свою озабоченность моим состоянием. Еще ей не нравилось то, что я сидела «на таблетках».

– Тебе вообще-то не нужно смешивать алкоголь с лекарствами, – говорила Рива, приканчивая вино. Я позволяла ей выпить всю бутылку. В колледже она называла посещение баров своей терапией. Она могла одним махом осушить коктейль из виски с лимонным соком. Между порциями выпивки она глотала адвил. Она утверждала, что это повышает ее порог терпимости. Пожалуй, Риву можно было назвать алкоголичкой. Но насчет меня она была права. Я подседа на пилюли. В день я глотала их около дюжины. Но все было под контролем, как мне казалось. Я делала это абсолютно открыто. Просто мне хотелось все время спать. У меня был план.

– Я не нарик какой-то, я не опустилась, – оправдывалась я. – Просто взяла на год тайм-аут. Для отдыха и релакса.

– Счастливая, – с завистью проговорила Рива. – Я бы тоже не прочь отдохнуть от работы и просто гулять, смотреть фильмы и дрыхнуть целыми днями, но что поделаешь. Я не могу позволить себе такую роскошь. – Опынев, она закидывала ноги на кофейный столик, скидывала на пол мою грязную одежду и нераспечатанную почту, бубнила и бубнила про своего Кена и пересказывала мне последний эпизод их мыльной оперы под названием «Офисный роман». Она хвасталась тем, как классно собирается провести выходные, жаловалась, что нарушила диету и теперь ей придется тратить еще больше времени на фитнес, чтобы сбросить вес. Потом принималась со слезами говорить о матери:

– Я уже не могу разговаривать с ней, как раньше. Мне так грустно. Я страдаю от одиночества. Я ужасно одинокая.

– Мы все одинокие, Рива, – возражала я. И это было правдой. Я была одинока, она тоже. Больше ничем утешить ее я не могла.

– Знаю, мне надо готовиться к самому худшему. Прогноз плохой. И не думаю, что получу полную картину ее болезни. Я просто в отчаянии. Мне так хочется, чтобы рядом со мной был человек, который обнимет меня, понимаешь? Неужели это смешно?

– Ты зациклена на том, чего тебе не хватает, – говорила я. – Меня это огорчает.

– И потом Кен. У нас все так непонятно. Я просто не могу этого вынести. Лучше покончить с собой, чем остаться одной, – ныла она.

– У тебя хотя бы есть выбор.

Иногда мы заказывали салат в тайском ресторане – если у меня было настроение – и смотрели фильмы по платному каналу. Вообще-то я предпочитала смотреть мои видеокассеты, но Риве всегда хотелось увидеть что-нибудь «новенькое», и «крутое», и «говорят, хорошее». В эти месяцы для нее стало предметом гордости то, что она была в курсе новостей о жизни звезд и культурных событий, а я нет. Она знала все последние сплетни о знаменитостях и все модные тенденции. Мне же было наплевать на это. Рива штудировала «Космо» и смотрела «Секс в большом городе». Она знала все о красоте и «умении жить». Ее зависть была весьма оправданной. По сравнению со мной она считала себя обделенной привилегиями и по-своему была права. Я выглядела, как модель, у меня были деньги, которые достались мне без всякого труда, я носила настоящую дизайнерскую одежду, была в числе первых по истории искусства, а значит, «культурной и образованной». А вот Рива жила на Лонг-Айленде, была восьмой из десяти, но называла себя настоящей нью-йоркской штучкой и получала высокие оценки по экономике. Она именовала это «лидерством по азиатскому занудству».

Рива жила на другом краю города, в доме без лифта, на четвертом этаже. В ее квартире пахло пропитавшейся потом спортивной одеждой, картофельными

чипсами, лизолом и духами «Томми гёрл» с цветочным ароматом. Хоть она и дала мне второй комплект ключей, когда поселилась там, я была в ее квартире всего два раза за пять лет. Рива предпочитала приезжать ко мне. Подозреваю, ей очень нравилось, что ее узнавал мой консьерж, нравилось входить в шикарный лифт с золотыми кнопками и смотреть, как я превращаю в хлев мою престижную квартиру. Не знаю, что было у нее на душе. Я не могла избавиться от нее. Она обожала меня и в то же время ненавидела. Мою борьбу с депрессией она считала жестокой пародией на ее собственные неудачи. Я добровольно выбрала одиночество и бесцельное существование, а Рива, несмотря на все усилия, просто не могла добиться того, чего хотела, – у нее не было ни мужа, ни детей, ни успешной карьеры. Так что, когда я впала в спячку, думаю, Рива испытывала некоторое удовлетворение, с надеждой наблюдая, как я превращалась в безвольного слизня. Мне было неинтересно состязаться с ней, но она раздражала меня, поэтому мы спорили. Вероятно, так бывает, когда у тебя есть сестра, человек, который любит тебя настолько, что тычет носом во все твои недостатки. Даже в выходные, если засиживалась допоздна, она отказывалась остаться ночевать. Впрочем, я и сама этого не хотела, но она всегда устраивала из этого спектакль и намекала, что на ней лежит ответственность, хоть мне этого никогда не понять.

Как-то вечером я сняла ее «Полароидом» и сунула снимок за раму зеркала в гостиной. Рива увидела в этом проявление любви, а на самом деле фото напоминало мне, как мало радости приносит мне ее общество, когда у меня возникало желание позвать ее к себе после просмотра очередного фильма.

– Я дам тебе на время мой набор CD, повышающих уверенность в себе, – обещала она, если меня охватывала тревога.

У Ривы была слабость к книгам в духе «помоги себе сам» и курсам, где новейшие диеты обычно сочетались с советами по профессиональному совершенствованию и напутствиями в налаживании романтических отношений, чтобы научить молодых женщин, «как полностью раскрыть свой потенциал». Через каждые несколько недель у Ривы кардинально обновлялась жизненная парадигма, и мне приходилось выслушивать новые откровения.

– Старайся понять, когда ты устала, – посоветовала она мне однажды. – Многие женщины часто растрачивают себя в такие дни до последней капли.

Среди жизненно важных наставлений в брошюре «Используйте как можно полнее ваш день, леди» был совет планировать в воскресенье, что ты станешь носить на работу в течение недели.

– Благодаря этому тебе не придется ломать голову по утрам.

Честное слово, я терпеть не могла, когда она говорила такое.

– И пойдём со мной в «Сейнтс». Сегодня вечер для леди. Девушки бесплатно пьют до одиннадцати. Там ты почувствуешь себя гораздо лучше. – Она любила давать патентованные советы, разрешающие выпиться до потери пульса.

– Я никуда не хочу идти, Рива.

Она опустила взгляд на свои руки, покрутила кольца, почесала шею и устала себе под ноги.

– Мне скучно без тебя, – сказала она, и ее голос чуть дрогнул. Может, она рассчитывала этими словами тронуть мое сердце. Но я весь день принимала нембутал.

– Пожалуй, нам не нужно больше дружить. – Я потянулась на софе. – Я долго думала об этом и не вижу смысла продолжать все это.

Рива села рядом, сложив руки на коленях. Помолчав пару минут, она подняла на меня взгляд и потерла пальцем под носом – она делала так, когда была близка к слезам. Она словно увидела перед собой Адольфа Гитлера. Я натянула через голову свитер и скрипнула зубами, стараясь не рассмеяться, пока она скулила, хныкала и пыталась взять себя в руки.

– Я твоя лучшая подруга, – плаксиво проговорила она. – Ты не должна выбрасывать меня из своей жизни. Это саморазрушение.

Я поправила свитер и затащила сигаретой. Она помахала рукой перед лицом и демонстративно закашлялась. Потом повернулась ко мне. Она пыталась набраться храбрости и посмотреть в глаза противнику. Я заметила страх в ее глазах, словно она видела перед собой черную дыру и боялась в нее упасть.

– По крайней мере, я пытаюсь что-то изменить и чего-то добиться, – произнесла она. – Помимо сна, чего ты вообще хочешь от жизни?

Я предпочла не заметить ее сарказм.

– Я хотела стать художником, но у меня нет таланта, – ответила я.

– Тебе действительно нужен талант?

Пожалуй, это было самым разумным, что Рива когда-либо говорила мне.

– Да, – кивнула я.

Она встала, прошла на мысочках через гостиную и осторожно закрыла за собой дверь. Я проглотила несколько таблеток ксанакса, сжевала пару крекеров и устала сидеть на смятом сиденье пустого кресла. Затем встала, поставила «Жестяной кубок» и стала смотреть вполглаза, задремывая на софе.

Рива позвонила через полчаса и оставила голосовое сообщение, сказав, что она уже простила мне нанесенную ей обиду, что беспокоится о моем здоровье, любит меня и не бросит «несмотря ни на что». Я слушала ее голос, и у меня свело челюсти, словно я несколько дней скрипела зубами. Может, так и было. Потом я представила, как она шныряла по супермаркету, выбирая продукты, которые проглотит и тут же извергнет из себя. Ее верность была абсурдной. Но благодаря ей мы и держались вместе.

– У тебя все будет хорошо, – успокаивала я Риву, когда она сообщила, что ее мать начинает третий курс химиотерапии.

– Не глупи, – говорила я, когда у матери Ривы метастазы проникли в мозг.

Я не могу вспомнить конкретно какое-нибудь событие или происшествие, напрямую повлиявшее на мое решение залечь в спячку. Поначалу мне просто хотелось приглушить успокоительными таблетками собственные мысли и суждения, поскольку из-за постоянного раздражения я невольно ненавидела всех и вся. Я надеялась, что жизнь станет более сносной, если мой мозг будет

медленнее оценивать окружающий мир. В январе 2000 года я начала посещать доктора Таттл. Началось все совершенно невинно: я чувствовала себя несчастной, меня раздирали тревоги, и мне было необходимо сбежать из тюрьмы собственного рассудка и тела. Доктор Таттл подтвердила, что в этом нет ничего необычного. Нельзя сказать, что она была хорошим доктором. Ее фамилию я нашла в телефонной книге.

- Вы поймали меня в подходящий момент, - сообщила она, когда я позвонила ей в первый раз. - Я как раз закончила ополаскивать посуду. Откуда у вас мой номер?

- Из справочника «Желтые страницы».

Мне нравилось думать, что я нашла доктора Таттл случайно, что нас свела судьба, может, даже божественное провидение, хотя на самом деле она была единственным психиатром, ответившим на мой звонок в одиннадцать вечера. В тот вторник я отправила поздно вечером дюжину сообщений на автоответчики. Но только доктор Таттл сняла трубку.

- Самая большая угроза для мозга в наши дни - все эти микроволновые печи, - объяснила мне в тот вечер по телефону доктор Таттл. - Микроволны, радиоволны. Еще вышки сотовой связи, пронизывающие нас неизвестно какими частотами. Впрочем, это не моя область знаний. Я лечу психические заболевания. Вы работаете в полиции? - поинтересовалась она.

- Нет, я работаю у арт-дилера в Челси, в одной галерее.

- Вы из ФБР?

- Нет.

- Из ЦРУ?

- Нет, а что?

- Я просто обязана задать эти вопросы. Вы из наркоконтроля? Из Управления по контролю за продуктами и лекарствами? Из Бюро страховых преступлений? Из

Национальной организации по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения? Вы частный детектив, нанятый частным лицом или властью? Вы работаете на медицинскую страховую компанию? Вы наркодилер? Наркозависимая? Вы врач? Вы студентка медицинского колледжа? Хотите достать таблетки и накормить ими агрессивного бойфренда или босса? Вы из НАСА?

- По-моему, у меня бессонница. Вот моя основная проблема.

- И к тому же у тебя зависимость от кофеина? Я угадала?

- Не знаю.

- Вот и продолжай пить кофе. Так будет лучше всего. Если ты сейчас бросишь, то просто слетишь с катушек. У людей с настоящим расстройством сна бывают галлюцинации, они теряют представление о времени, и обычно у них плохая память. Это сильно портит им жизнь. У тебя похожая картина?

- Иногда я чувствую себя мертвой, - сказала я ей, - и ненавижу весь мир. Это идет в зачет?

- О да, идет. Определенно. Я уверена, что смогу тебе помочь. Но я всегда прошу моих новых пациентов прийти ко мне на пятнадцатиминутную консультацию. Мне необходимо убедиться, что мы подходим друг другу. Это бесплатно. Еще я рекомендую тебе взять в привычку вести записи, чтобы не забывать о моих назначениях. Если захочешь отменить визит, ты должна это сделать за двадцать четыре часа. Пользуешься стикерами? Такими клейкими бумажками для заметок? Купи себе стикеры. Еще мне надо получить твою подпись под кое-какими договорами и соглашениями. Прямо сейчас запиши это.

Доктор Таттл велела мне явиться к ней на следующий день в девять утра.

Ее кабинет находился в жилой многоэтажке на Тринадцатой улице, недалеко от метро «Юнион-сквер». Это была мрачноватая гостиная, облицованная деревянными панелями, с фальшивой викторианской мебелью, плюшевыми котиками, лиловыми свечами, веночками из мертвых лиловых цветов, горшочками с ароматической смесью и стопками старых журналов «Нэшнл джиографик». Ванная комната была увита искусственными растениями и

утыкана павлиньими перьями. На умывальнике, рядом с куском потрескавшегося сиреневого мыла, на раковине морского моллюска стояла деревянная площадка с арахисом. Помнится, меня это поразило. Свои личные туалетные принадлежности доктор прятала в тумбе под умывальником – в большой плетеной корзинке лежали несколько видов противогрибковых присыпок, рецептурный стероидный крем, шампунь, мыло и лосьоны с запахом лаванды и фиалки, зубная паста с фенхелем. Жидкость для полоскания рта тоже рецептурная. На вкус она оказалась похожей на морскую воду.

В тот первый раз, когда я познакомилась с доктором Таттл, на ней был шейный ортез из поролон – после «неприятности с такси», и она держала на руках жирного полосатого кота, «ее старичка», как она его представила. Она показала мне на крошечные желтые конвертики в приемной.

– Когда будешь приходить, пиши на конверте свое имя и вкладывай в него чек. Платежи идут туда. – Она постучала по деревянному ящичку на ее письменном столе. В такие ящички в храмах собирают пожертвования на свечи. Медицинская кушетка в кабинете была вся в кошачьей шерсти, а в изножье валялись маленькие куклы «под старину» с облупленными фарфоровыми лицами. На столе соседствовали обгрызенные плитки гранолы и пластиковые контейнеры с виноградом и кусками дыни, древний, как мамонт, компьютер и все те же географические журналы.

– Что привело тебя сюда? – спросила доктор. – Депрессия? – Она уже вытащила из ящика блокнот с бланками рецептов.

Мой план был прост – врать направо. Я все тщательно продумала. Сказала ей, что у меня уже полгода проблемы со сном, пожаловалась на нервозность и приступы отчаяния при общении с окружающими. Но как только я стала декламировать заученный заранее монолог, то сразу поняла, что во многом все так и есть. Я не страдала бессонницей, но была несчастна. Когда я пожаловалась доктору Таттл, то, странное дело, это принесло мне облегчение.

– Мне нужно что-нибудь такое, что успокаивает, я точно это знаю, – искренне сказала я. – А еще что-то, что приглушит потребность в общении. Я уже на пределе. Помимо всего прочего, я сирота. Вероятно, у меня посттравматическое стрессовое расстройство. Моя мать покончила с собой.

- Как? - спросила доктор Таттл.

- Порезала запястья, - солгала я.

- Хорошо, что ты мне это сказала.

У нее были рыжие кудри. Шейный корсет, который она носила тогда, был весь в пятнах от кофе и еды. Еще он выдавливал кожу на ее шее к подбородку. Лицо доктора напоминало морду бладхаунда - все в складках и обвисшее. Запавшие глаза прятались за очень маленькими очками в проволочной оправе и с толстенными линзами. Мне никогда толком не удавалось посмотреть ей в глаза, но подозреваю, что они были безумными, черными и блестящими, как у вороны. Ручка, которой она пользовалась, была длинная и лиловая с лиловым пером на конце.

- Мои родители умерли, оба, когда я училась в колледже, - продолжала я. - Это произошло несколько лет назад.

Казалось, она с минуту изучала меня; ее лицо было бесстрастным и неподвижным. Потом она перевела взгляд на свой блокнотик с рецептурными бланками.

- У меня прекрасные отношения со страховыми компаниями, - будничным тоном сообщила она. - Я знаю, как играть в их маленькие игры. Ты вообще когда-нибудь спишь?

- Едва ли, - ответила я.

- Сны?

- Только кошмары.

- Понятно. Сон - это ключ. Большинство людей нуждаются в долгом сне, от четырнадцати часов и больше. А в наше время все вынуждены вести неестественный образ жизни. Дела, дела, дела. Бегом, бегом, бегом. Ты, вероятно, слишком много работаешь. - Она что-то нацарапала в своем блокноте. - «Радость», - сказала доктор Таттл. - Мне это слово нравится больше,

чем «веселье». «Счастье» я вообще не люблю тут использовать. «Счастье» – слишком цепкое слово. Тебе следует знать, что я отношусь к тем, кто понимает тонкую разницу в значении слов, если речь идет о состоянии человека. Конечно, главное – хороший отдых. Ты хоть знаешь, что означает слово «радость»? Р-А-Д-О-С-Т-Ь?

– Да. Типа «Обитель радости»[1 - «Обитель радости» – роман лауреата Пулитцеровской премии Эдит Уортон (1905) о сложной и несчастливой судьбе красивой и одаренной молодой женщины. «Эпоха невинности» – также роман Э. Уортон.], – сказала я.

– Печальная книжка, – заметила доктор Таттл.

– Я не читала.

– И не надо. Правильно.

– Я читала «Эпоху невинности».

– Так ты у нас образованная.

– Я училась в Колумбийском университете.

– Мне полезно это знать, но вот тебе в твоём состоянии толку от этого мало. Образование прямо пропорционально стрессу, тревоге, как ты, вероятно, уже поняла, посещая лекции в Колумбийском. Как у тебя с приемом пищи? Регулярно? Есть какие-либо ограничения из-за диеты? Когда ты вошла сюда, я подумала про Фарру Фосетт и Фэй Данауэй. Какая связь? Я бы сказала, что твой вес на двадцать фунтов меньше, чем положено по индексу Кетле.

– Думаю, аппетит появится, если я смогу спать, – сказала я. Это была ложь. Я и так спала по двенадцать часов, с восьми до восьми. А теперь надеялась получить препараты, которые помогут мне спать все выходные напролет.

– Ежедневная медитация лечит бессонницу у крыс, доказано экспериментально. Сама я не религиозна, но ты попробуй ходить в церковь или синагогу. Попроси совета, как обрести душевный покой. По-моему, квакеры разумные люди. Но

держишь подальше от всяких культов. Там часто устраивают ловушки и опутывают сетями молодых женщин. Как у тебя с сексуальной активностью?

- Не очень, - вздохнула я.

- Ты живешь близко от предприятия по переработке радиоактивных материалов? Или от высоковольтных линий?

- Я живу в Верхнем Ист-Сайде.

- Пользуешься подземкой?

Верно, я каждый день ездила на работу на метро.

- В замкнутом пространстве, где много людей, передается множество психических заболеваний. Я чувствую, что твой разум слишком уязвим. У тебя есть хобби?

- Люблю смотреть фильмы.

- Забавное хобби.

- А как они заставляли медитировать? - поинтересовалась я.

- Ты видела когда-нибудь грызунов в неволе? Родители пожирают своих детей. Но не будем их демонизировать. Они делают это из сострадания. Для блага всего вида. Аллергия у тебя есть?

- На клубнику.

Потом доктор Таттл положила лиловую ручку и уставилась в пространство, вроде бы глубоко задумавшись.

- Впрочем, отдельные крысы, - проговорила она, помолчав, - все же заслуживают демонизации. Некоторые крысиные индивиды. - Она снова взялась за ручку с лиловым пером. - В тот миг, когда начинаем делать обобщения, мы

отказываемся от своего права на самостоятельность, индивидуальность. Надеюсь, ты меня понимаешь. Крысы очень преданы этой планете. Попробуй вот это, – сказала она, вручая мне пачку рецептов. – Не заказывай все сразу. Надо сделать это постепенно, чтобы не засветиться. – Она выпрямила спину, встала и открыла деревянную полку с образцами, вытряхнула на стол пузырьки с лекарствами. – Я дам тебе для маскировки бумажный пакет, – сказала она. – Сначала закажи рецепты с литием и халдолом. Курс лечения лучше начинать с ударной дозы. Тогда впоследствии, если нам понадобится испробовать какой-нибудь нестандартный препарат, для твоей страховой компании это не окажется сюрпризом.

Я не стану осуждать доктора Таттл за этот ужасный совет. В конце концов, меня никто не тянул к ней на веревке. Я по своей воле стала ее пациенткой. Она давала мне все, о чем я просила, и я была признательна ей за это. Наверняка где-то рядом были и другие доктора, но легкость, с какой я нашла ее, и немедленное облегчение, которое мне давали прописанные ею препараты, создавали у меня ощущение, что я нашла фармацевтического шамана, мага, волшебницу, колдунью. Порой я даже сомневалась, реально существует доктор Таттл или она плод моего воображения. Впрочем, в этом случае мне показалось бы странным, что я выбрала ее, а не даму, более похожую на одну из моих героинь, например, на Вупи Голдберг.

– Набери 9-1-1, если тебе станет плохо, – сказала доктор Таттл. – Включай по возможности здравый смысл. Трудно угадать заранее, как на тебя подействуют эти средства.

Поначалу все новые препараты, которые она мне назначала, я отыскивала в интернете и пыталась узнать, насколько вероятно, что я буду спать в тот или иной день. Но чтение лишало препарат магии. Из-за этого сон казался банальностью, просто очередной механической функцией тела, вроде насморка, поноса или сгибания сустава. «Побочные действия и предостережения», о которых сообщал интернет, подтачивали мою решительность. Беспокойство из-за них увеличивало объем моих мыслей, и это было совсем не то, на что я надеялась, глотая препараты. Так что я заказывала по рецепту такие препараты, как невропроксин, максифенфен, валдинол, силенсиор, и время от времени добавляла их к моему обычному фармацевтическому коктейлю, но чаще всего я принимала в больших дозах разное снотворное и добавляла к нему секонал или нембутал, если испытывала раздражение; валиум или либриум, если мне казалось, что я грущу; и пласидил, ноктек или милтаун, если страдала от

одинокства.

За несколько недель я собрала внушительную библиотеку по психофармацевтике. На каждой наклейке был изображен спящий глаз, череп и скрещенные кости. «Не принимать при беременности», «принимать во время еды или запивать молоком», «хранить в сухом месте», «может вызывать сонливость», «может вызывать головокружение и тошноту», «не принимать с аспирином», «не измельчать», «не разгрызать». Любой нормальный человек встревожился бы и задумался, какой вред эти препараты нанесут его здоровью. Я не была по-детски наивной и не заблуждалась насчет потенциальной опасности. Моего отца сожрал рак. Я видела мать в больнице под капельницей, когда ее мозг уже умер. Я потеряла подругу детства – у нее отказала печень, после того как она принимала в старших классах школы ацетаминофен после средства от простуды. Жизнь – хрупкая и непрочная штука, следовало проявлять осторожность, я это знала, но готова была идти на смертельный риск, если это обещало сон целыми днями и возможность стать совершенно другим человеком. И я рассчитывала, что достаточно умна, чтобы вовремя понять, смогут ли меня убить какие-то препараты. Меня предостерегут кошмары, прежде чем это произойдет, прежде чем у меня откажет сердце, или мой мозг взорвется, или наполнится кровью, или вытолкнет меня из окна седьмого этажа. Я верила, что у меня все наладится и исправится, если я смогу спать целыми днями.

Я въехала в свою квартиру на Восемьдесят четвертой улице Ист-Сайда в 1996 году, через год после окончания Колумбийского. К лету 2000 года я ни разу не перекинулась ни одним словечком ни с кем из соседей – почти четыре года полного молчания в лифте. Поднимаясь или спускаясь с кем-то из них, мы неизменно словно отгораживались непроницаемой стеной и демонстрировали мистическое исчезновение из пространства. Моими соседями были в основном сорокалетние семейные пары без детей. Профессионалы с безупречной внешностью. Пальто из верблюжьей шерсти, черные кожаные портфели, шарфы от «Берберри» и жемчужные серьги. Жили там и несколько горластых, одиноких женщин моего возраста – я видела их иногда; они болтали по мобильным и выгуливали своих карликовых пуделей. Они ходили на Риву, но у них было больше денег и, пожалуй, меньше комплексов. Квартал Йорквилл в Верхнем Ист-Сайде. Люди тут скованные, чопорные. Когда я шаркала по холлу в пижаме и шлепках, направляясь в бакалейную лавку, у меня возникало чувство, что я совершаю преступление, но я плевала на все. Кроме меня, неопрятными тут были лишь пожилые евреи, жившие в квартирах с контролируемой штатом

арендной платой. Но я все еще оставалась высокой и стройной блондинкой, хорошенькой и молодой. Даже в самые худшие минуты я знала, что выгляжу хорошо.

Мой дом был восьмиэтажный, бетонный, с бордовыми маркизами и безликим фасадом. Он стоял среди чопорных таунхаусов, на каждом из которых висела табличка, требовавшая от собачников не позволять питомцам мочиться на ступеньки, так как это повредит песчаник, из которого они сделаны. «Давайте уважать тех, кто был до нас, а также тех, кто придет после нас», – гласила одна такая табличка. Мужчины ездили на работу в деловую часть города на арендованных машинах, а женщины увлекались ботоксом, увеличивали грудь и делали лазерную подтяжку влагалища, чтобы угодить своим мужьям и персональным тренерам; во всяком случае, так говорила Рива. Поначалу я надеялась, что Верхний Ист-Сайд оградит меня от конкурсов красоты и петушиных боев на арт-сцене, где я «работала» в Челси. Но жизнь здесь заразила меня местным вирусом. Поначалу я пыталась казаться одной из тех блондинок, которые быстро прохаживались по Эспланаде в спандексе, с блютусом в ухе. Я тоже гуляла, словно какая-нибудь самодовольная задница, и разговаривала – с кем? С Ривой?

По выходным я делала то, что полагалось делать в Нью-Йорке таким, как я, девушкам: я делала клизмы, массаж лица, подкрашивалась, потела в сверхдорогих тренажерных залах, лежала до одурения в хамаме, а вечерами ходила куда-нибудь в туфлях, которые резали мне ноги и вызывали боль в позвоночнике. Временами я встречала в галерее интересных мужчин. Я спала с кем попало, иногда чаще, иногда реже. Намека на «любовь» и близко не было. Рива часто заговаривала насчет того, что «пора устроить жизнь». Для меня это было смерти подобно.

– Я лучше буду одна, чем стану чьей-то приживалкой и проституткой, – заявила я подруге.

Но все же романтические волны захлестывали меня время от времени с Тревором, моим экс-бойфрендом, первым и единственным, который иногда появлялся у меня. Мне, первокурснице, было всего восемнадцать, когда я познакомилась с ним на вечеринке в честь Хеллоуина в лофте возле квартала Бэттери-Парк. Я пошла туда с дюжиной девчонок из нашего общежития. Как и большинство костюмов на Хеллоуин, мой позволял прогуляться по городу одетой, как проститутка. Я нарядилась в детектива Риту, героиню Вупи Голдберг

из «Смертельной красоты». В первой сцене фильма она идет на задание, переодевшись именно так, вот я и копировала ее. Я начесала волосы, надела облегающее платье, высокие каблуки, пиджак из золотой парчи и белые очки от солнца. Тревор был в костюме Энди Уорхола: светлый парик с короткими волосами, темные очки в массивной оправе, приталенная полосатая рубашка. Мое первое впечатление от него – умный, свободомыслящий, занятый. Потом все оказалось с точностью до наоборот. Мы вместе ушли с вечеринки и долго бродили по городу, ввали друг другу про свою счастливую жизнь, ели в полночь пиццу, прокатились туда и обратно на пароме на Стейтен-Айленд и любовались восходом солнца. Я дала ему телефон нашей комнаты. Когда он через две недели наконец позвонил мне, я уже сходила с ума от любви. Он много месяцев держал меня на длинном, но крепком поводке – дорогие рестораны, иногда опера или балет. Он лишил меня невинности на лыжной базе в Вермонте в День святого Валентина. Опыт получился не самый приятный, но я верила, что Тревор знал о сексе больше, чем я. И когда он скатился с меня и сказал, что это было потрясающе, я ему поверила. Ему было тридцать три года, он работал в банке «Фудзи» во Всемирном торговом центре, носил приталенные костюмы, присылал за мной машину к дому, где я снимала комнату, потом в университетское общежитие для старшекурсниц, водил меня в рестораны и без всякого стыда занимался со мной сексом на заднем сиденье такси, которое оплачивал из средств компании. Я видела в этом подтверждение его крутости. Мои «сестры» в один голос говорили, что он «обаяшка». А меня впечатляло, что ему нравилось рассказывать о своих эмоциях – такого мужчину я еще не встречала.

– Моя мама совсем выжила из ума, вот почему мне так грустно. – Он часто летал по делам фирмы в Токио и навещал в Сан-Франциско свою сестру-близнеца. Подозреваю, именно она внушала ему, чтобы он не встречался со мной.

В первый раз он бросил меня через несколько месяцев, когда я еще не закончила первый курс – мол, я была «слишком маленькая и незрелая, и он не смог бы помочь мне справиться с моим одиночеством – слишком большая ответственность. Я заслуживаю встречи с человеком, который сможет поддержать мое эмоциональное развитие». Так что то лето я провела в родительском доме на севере штата и встречалась с парнишкой из школы, который интересовался, как «работает» женский клитор, был гораздо более чувственным, но не слишком терпеливым для успеха в сексе. Впрочем, мне помогло общение с ним. Я вновь обрела уверенность в себе, равнодушно используя этого мальчишку. Ко Дню труда в начале сентября, когда я перебралась в общежитие «Дельта-гамма», мы с Тревором снова были вместе.

В течение следующих восьми лет Тревор периодически понижал свою самооценку, встречаясь с женщинами старше него или ровесницами, а затем возвращаясь ко мне для подзарядки. Я всегда была доступна. Время от времени я встречалась с другими парнями, но среди них никогда не появлялось другого настоящего «бойфренда», если можно было считать таковым Тревора. Он никогда бы не согласился на подобный титул. Когда мы не общались, в колледже у меня находилось немало партнеров на одну ночь, но ничего серьезного. Когда я окончила университет и прыгнула во взрослую жизнь – уже осиротев, – я осмелела от отчаяния и часто просила Трево́ра вернуться ко мне. Я буквально чувствовала, как твердел его член, когда я говорила с ним по телефону и умоляла приехать и обнять меня. «Посмотрю, сумею ли я втиснуть его в нее», – говорил тогда он. Приезжал, и я дрожала от страсти в его руках, как ребенок, которым я и была тогда, испытывая благодарность за его признание, наслаждалась тяжестью его тела, когда мы оказывались вместе. Для меня он был словно божественный посланец, мой спаситель, душевный друг, кто угодно. Тревор с удовольствием проводил ночи в моей квартире на Восемьдесят четвертой улице Ист-Сайда; к нему возвращались вся его уверенность и бахвальство, которые он подрастерял в последней интрижке. Мне ужасно не нравилось это наблюдать. Однажды он сказал, что боится трахать меня «слишком страстно», поскольку не хочет разбить мне сердце. И он трахал меня методично, с самодовольством, а закончив, одевался, смотрел на свой пейджер, причесывал шевелюру и уходил.

Как-то я спросила у него: если бы ему пришлось выбирать на всю оставшуюся жизнь между минетом или обычным траханьем, что бы он выбрал?

– Минет, – ответил он.

– Ты совсем как гей, что ли? – удивилась я. – Тебя больше интересует рот, чем киска?

Он не разговаривал со мной несколько недель.

Но Тревор был высокий, метр девяносто. Он был аккуратный, спортивный и уверенный в себе. Я бы выбрала миллион раз его, а не этих идиотских хипстеров, которых постоянно вижу в городе и галерее. В колледже отделение истории искусства было набито молодыми парнями этой специфической категории. Скучные, лишенные обаяния интеллектуальные обсоски, они считали себя «альтернативой» мейнстримным богатеньким мальчишкам и узколобым,

прямолинейным парням с медицинского и доминировали в самых интересных отделениях Колумбийского. Я не могла избежать общения с ними, так как специализировалась на истории искусства. Они читали в метро Ницше, читали Пруста, читали Дэвида Фостера Уоллеса, роняя свои блестящие мысли в черный молескиновый карманный блокнот. Пивные животы и костлявые ноги, толстовки на молнии, синие куртки-бушлаты или зеленые армейские парки, кроссовки «Нью баланс», вязаные шапочки, матерчатые сумки, маленькие кисти рук, волосатые костяшки, может, татуировка головы оленя на вялом бицепсе. Они сами скручивали сигареты, кое-как чистили зубы, тратили сотню долларов в неделю на кофе. В «Дукат», галерею, откуда я ушла, они заявлялись со своими юными – обычно азиатскими – подружками. «Азиатская подружка означает, что у парня маленький член», – однажды сказала Рива. Я слышала, как они несли всякую чушь об искусстве. Они огорчались, видя чей-то успех. Они хотели стать влиятельными, популярными, обожаемыми, хотели, чтобы все восхищались их гениальностью. Но они с трудом могли смотреть на себя в зеркало. Подозреваю, что они все сидели на клонопине. Жили они главным образом в Бруклине – еще одна причина, почему я с радостью перебралась в Верхний Ист-Сайд. Тут никто не слушал «Молди Пичес». Всем было наплевать на иронию как художественное средство, или «Догму-95», или Клауса Кински.

Что хуже всего, те парни пытались выдать свою закомплексованность за «утонченность», и это срабатывало. Они содержали музеи и журналы, но меня готовы были нанять лишь тогда, когда думали, что я стану с ними трахаться. На вечеринках или в барах они меня игнорировали. Они невероятно увлекались беседой с такими же, как они, компаньонами, и можно было подумать, будто ставки так высоки, что в случае какого-нибудь их неправильного решения мир взорвется. Они всем своим видом показывали, что не отвлекаются на блондинок. Возможно, истина крылась в том, что они просто боялись вагины, боялись, что не смогут справиться с такой хорошенькой и розовой, как моя, что стыдились неадекватности своих чувств, боялись собственных членов, боялись себя. Они фокусировались на абстрактных идеях и усугубляли свои проблемы алкоголем, глуша ненависть к себе, которую предпочитали именовать экзистенциальной тоской. Легко было представить, как те парни мастурбировали на Хлою Севиньи, Сельму Блэр, Лили Собески. И на Вайнону Райдер.

Тревор, вероятно, мастурбировал на Бритни Спирс. Или на Дженис Джоплин. Я никогда не понимала его двуличия. А Тревор никогда не хотел «преклонить колени перед алтарем». Я могла бы пересчитать случаи, когда он снисходил до меня. Когда же он пытался это сделать, то даже не знал, как себя вести, зато упивался собственным великодушием и страстью, словно мое промедление с

минетом было совершенно неприличным и возмутительным, тогда как он проявлял небывалую смелость и просто с ума от этого сходил. Его поцелуи были агрессивными и ритмичными, словно он учился целоваться по учебнику. Челюсть Тревора была узкой и квадратной, а подбородок – безвольным. Кожа ровная, загорелая, хорошо увлажненная, более гладкая, чем у меня. Ему почти не надо было бриться. От него всегда пахло парфюмерным магазином. Встреть я его сейчас, подумала бы, что он гей.

Но по крайней мере Тревор был искренним и наивным в своей бравате. Его не ужасали собственные амбиции, как тех хипстеров. И он умел манипулировать мной – я невольно уважала его за это, хотя и ненавидела по этой же причине.

Мы с Тревором общались, когда я соскользнула в спячку. Кажется, однажды, еще в самом начале, я звонила ему, находясь под черной вуалью амбиена, но не помню, ответил ли он. Мне нетрудно представить, что он нырнул в проблемную вагину сорока-с-лишним-лет, выбросив из головы все мысли обо мне, как в бакалее, не замечая этого, проходишь мимо полка с коробочками макарон с сыром или маршмеллоу. Я была для него вроде тех коробочек. Чепухой. Я не стоила траты калорий. Он говорил, что предпочитает брюнеток. «Они позволяют мне оставаться самим собой, – утверждал он. – Блондинки отвлекают. Так что твоя красота – это как ахиллесова пята. Слишком уж все очевидно. Я не хочу тебя обидеть. Но это правда. Слишком трудно смотреть мимо тебя».

Лет с пятнадцати я разрывалась между желанием выглядеть как избалованная белая американка, какой и была, и нищей бродяжкой, какой я себя чувствовала и какой стала бы, если бы у меня хватило смелости. После окончания колледжа я делала покупки в «Бергдорфе», «Барни» и дорогих винтажных бутиках в Ист-Виллидж. Результатом стал потрясающий гардероб, мой главный профессиональный капитал. Я без труда спикировала в галерею «Дукат», одну из дюжины галерей «изящных искусств» на Двадцать первой улице Вест-Сайда. У меня не было амбициозных планов стать куратором, карабкаться вверх по карьерной лестнице. Я просто пыталась как-то проводить время. Я думала, что если стану делать что-то нормальное – например, удержусь на работе, – то выморю из своей души ту часть меня, которая ненавидит все. Будь я парнем, возможно, занялась бы преступным бизнесом. Но я выглядела как модель на отдыхе. И оказалось чрезвычайно легко пустить все на самотек и никуда не стремиться. Тревор был прав насчет моей ахиллесовой пяты. Моя красота загнала меня в ловушку в мире, где выше всего ценится внешность.

Наташе, моей начальнице в «Дукате», было чуть за тридцать. Он взяла меня в галерею сразу, когда я пришла на собеседование. Мне было тогда двадцать два, я только что окончила учебу. Почти не помню наш разговор, но знаю, что я была в кремовой шелковой блузке, облегающих черных джинсах, туфлях без каблука – на случай, если я окажусь выше Наташи, что и подтвердилось, я была на полдюйма выше, – и крупных зеленых стеклянных бусах, которые набивали мне на груди синяки, когда я сбегала по лестнице в подземку. Я знала, что мне нельзя явиться на собеседование в платье или выглядеть чрезмерно стильно или женственно. Это вызвало бы только снисходительную усмешку. Наташа носила каждый день одно и то же – блейзер от Сен-Лорана и узкие кожаные штаны. Никакой косметики. Она была из тех загадочных этнических женщин, каких можно встретить почти в любой стране мира от Стамбула, Парижа, Марокко, Москвы до Нью-Йорка, Сан-Хуана или даже Пномпеня, различие будет лишь в прическе. Она легко говорила на четырех языках и, как я слышала, когда-то была замужем за итальянским аристократом, каким-то там бароном или графом.

Предполагалось, что искусство, которое представляла галерея «Дукат», должно провоцировать, разрушать устои, шокировать и эпатировать, но на самом деле здесь была только консервированная контркультурная фигня, «панк, но с набитым кошельком», ничего духоподъемного. Посетив галерею, можно было зайти за угол и купить уродующий тебя прикид от «Ком де Гарсон». Наташа наняла меня на роль мелкой сошки, и тех небольших усилий, какие я вкладывала в работу, было достаточно. Я была стильной конфеткой. Модным элементом интерьера. Я была сучкой, которая сидела за столиком и игнорировала тебя, когда ты входил в галерею, отпадной телкой с надутыми губками и в непонятных и крутых авангардных нарядах. Мне было велено изображать немую, если мне кто-то задаст вопрос. Увиливать, увиливать. Никогда не показывать прайс-лист. Наташа платила мне 22000 долларов в год. Не получи я наследства, должна была бы искать работу, где платят больше. И мне, вероятно, пришлось бы снимать в Бруклине жилье с кем-то на пару. Мне повезло, у меня были деньги моих умерших родителей, я понимала это, но все равно это вызывало у меня депрессию.

Звездой у Наташи был Пин Си, мохнаторылый двадцатитрехлетний парень из Даймонд-Бара, что в Калифорнии. Она считала его хорошим приобретением, потому что он был американцем с азиатскими корнями и его выгнали из Калифорнийского художественного института за стрельбу из ружья в студии. Он мог стать для галереи статусной фишкой.

– Я хочу, чтобы галерея стала более интеллектуальной, – объясняла Наташа. – Рынок все дальше отходит от эмоций. Теперь ставка на процесс, идеи и бренды. Мужественность, например, в явном тренде.

Работа Пин Си появилась в «Дукате» в рамках вернисажа под названием «Тело материи»; это была живопись брызгами а-ля Джексон Поллок, летевшими из его собственного эякулята. Он утверждал, что вставил крошечную дробинку с порошковым красящим пигментом в кончик своего пениса и мастурбировал на большой холст. Своим абстрактным картинам он давал броские названия, словно за каждой скрывался некий глубокий и темный политический смысл. «Кровавый прилив», «Зима в городе Хошимин», «Закат солнца над улицей Змея в Боснии». «Обезглавленный палестинский ребенок». «Прочь бомбы. Найроби». Все это была дребедень, но людям нравилось.

Наташа особенно гордилась «Телом материи», потому что все художники были моложе двадцати пяти лет и она открыла их сама. Наташа считала это доказательством ее дара открывать гениев. Единственная работа, которая мне понравилась на том вернисаже, принадлежала девятнадцатилетней Аиле Марвази, которая училась какое-то время в Институте Пратта: огромный белый ковер от «Крейт энд Баррел» с кровавыми следами ног и широкой кровавой полосой. По замыслу художницы, по нему словно протащили окровавленное тело. Наташа сказала мне, что кровь на ковре была человеческая, но в пресс-релизе об этом не написала.

– В Китае, кажется, можно заказать по интернету что угодно. Зубы. Кости. Части тела.

Кровавый ковер был оценен в 75 000 долларов.

Серия «Липкая пленка» Энни Пинкер состояла из мелких предметов, завернутых в пищевую пленку. В одной работе были крошечные марципановые фрукты и цепочки для ключа с лапками кролика, в другой – засушенные цветы и презервативы. Использованные и скрученные женские прокладки и резиновые пули. Бигмак с жареной картошкой и дешевые пластиковые четки. Молочные зубы художницы (во всяком случае, так она утверждала) и шоколадное драже «Эм-энд-Эмс» с рождественскими мотивами. Дешевые трансгрессии, доходившие до 25 000 долларов за штуку. Еще там висели большие фотографии манекенов, задрапированных в ткань мясного цвета, – автор Макс Уэлш. Этот был полным кретином. Я подозреваю, что он трахался с Наташей. В углу на

низком постаменте стояла небольшая скульптура братьев Брахамс – пара игрушечных обезьянок, сделанных из лобковых волос людей. У каждой обезьянки, несмотря на шерсть, была заметна маленькая эрекция. Пенисы были сделаны из белого титана; в них были встроены камеры, направленные так, чтобы снимать промежность зрителя. Снимки выкладывались на веб-сайт. Пароль для входа на сайт, чтобы посмотреть снимки, стоил сто долларов. Сама пара обезьянок стоила четверть миллиона.

На работе во время перерыва на ланч я обычно дремала часик в кладовке под лестницей. «Дремала» – детское слово, но именно так и было. Тональность моего ночного сна часто менялась и отличалась непредсказуемостью, но всякий раз, когда ложилась вздремнуть в кладовке, я проваливалась прямо в черную пустоту, бескрайнее пространство небытия. В том пространстве я не ощущала ни испуга, ни подъема. У меня не было никаких снов. Никаких мыслей. Если бы у меня появилась какая-то мысль, я бы ее услышала, и ее звук вновь и вновь отзывался бы эхом, пока не исчез, поглощенный тьмой. Но ответа на нее не требовалось. Никакой пустой беседы с самой собой. Все было спокойно и мирно. Отверстие в шкафу обеспечивало стабильный приток воздуха, подхватывавшего запах свежего белья из соседнего отеля. Работы никакой не было, ничего, на что мне пришлось бы реагировать, тратить усилия, вообще ничего. И все же я сознавала небытие. Иногда мне снилось, что я просыпаюсь, и я чувствовала себя хорошо. Была почти счастлива.

Но реальное пробуждение было ужасным. Вся жизнь проносилась перед моим взором наихудшим образом, мозг сам собой наполнялся отвратительными воспоминаниями, и каждая мелочь приводила меня туда, где я была. Я пыталась припомнить что-то еще – более удачную версию, может, счастливую историю или просто такую же неудачную, но иную жизнь, которая все же была бы другой в этом новом варианте, – но это никогда не срабатывало. Я всегда оставалась собой. Иногда я просыпалась с мокрым от слез лицом. Хотя на самом деле я плакала только раз, когда будильник в моем сотовом вытащил меня из небытия. Тогда мне пришлось вскарабкаться вверх по лестнице, взять кофе на крошечной кухне и стереть из уголков глаз песчинки и грязь. Я всегда медленно приспособливалась к флуоресцентному освещению.

Примерно год у нас с Наташей все шло хорошо. Больше всего ее расстроило то, что я заказала неправильные ручки.

– Почему у нас такие дешевые, скрипучие ручки? Они слишком громко скрипят. Неужели ты не слышишь? – Глядя с упреком, она встала передо мной.

– Извини, Наташа, – проговорила я. – Завтра я закажу другие, более тихие.

– Курьер «Федэкс» уже доставил почту?

Я редко могла ответить на такой вопрос.

Когда стала бывать у доктора Таттл, я спала в рабочие дни по четырнадцать-пятнадцать часов плюс еще час во время обеденного перерыва. В выходные я пробуждалась лишь на несколько часов. Да и в часы бодрствования я не совсем просыпалась, а пребывала в тумане, находясь между реальностью и сном. На работе я была ленивой, неряшливой, бестолковой, пустой. Мне это нравилось, но что-то делать стало проблематичным. Когда люди что-то говорили, мне приходилось мысленно повторять сказанное, чтобы смысл дошел до сознания. Я пожаловалась доктору Таттл на трудности с концентрацией внимания. Она сказала, что это, вероятно, из-за «тумана в мозгах».

– Ты достаточно много спишь? – спрашивала доктор Таттл каждую неделю, когда я приходила к ней.

– Так, с трудом, – отвечала я неизменно. – Эти препараты почти не уменьшают мою тревогу.

– Съедай банку нута, – советовала она. – Его еще называют турецким горохом. И попробуй вот это. – Она что-то нацарапала в своем блокноте с бланками. Диапазон лекарств, которые я потребляла, был впечатляющим. Доктор Таттл объяснила, как можно довести до максимума страховое покрытие. Надо сначала выписывать лекарства, уменьшающие побочное действие, и уж потом переходить непосредственно к тем, которые облегчают мои симптомы, – в моем случае это «изнурительная усталость вследствие эмоциональной слабости, плюс бессонница, что вызывает мягкий психоз и агрессию». Вот что она собиралась написать. Свой метод она называла экопрограммированием и говорила, что пишет статью, которая скоро появится «в гамбургском журнале». Так что она давала мне таблетки, которые были направлены против мигрени, предотвращали судороги, лечили синдром беспокойных ног и потерю слуха. Эти

лекарства должны были расслабить меня настолько, чтобы я могла хоть в какой-то мере обрести «крайне необходимый покой».

Однажды в марте 2000 года я вернулась к своему столу в «Дукате» после полуденного визита в бездонную пропасть в кладовке и нашла то, что могло осветить дорожку к моему вероятному увольнению. «Спать надо ночью, – гласила записка, привет от Наташи. – Это рабочее место». Я не могу винить Наташу за желание уволить меня. К тому времени я спала на работе уже год. Последние несколько месяцев я перестала нормально одеваться. Я сидела за столом в толстовке с капюшоном и с макияжем трехдневной давности, размазанным вокруг глаз. Я все теряла, все путала. Я никуда не годилась. Я могла запланировать что-то и сделать совершенно противоположное. Я все портила. Практиканты встряхивали меня, напоминали, что я велела им сделать. «Что дальше?»

Что дальше? Я понятия не имела.

Наташа стала это замечать. Моя сонливость была удобна для общения с посетителями галереи, но не в тех случаях, когда требовалось расписаться за посылку или заметить, что кто-то пришел с собакой и та оставила отпечатки лап по всему полу. Такое случалось несколько раз. Кто-то проливал латте. Студенты-искусствоведы трогали руками картины, один раз даже поменяли местами инсталляцию из тонких CD-футляров у Джеррода Харви, сложив слово «хакер». Я заметила это и просто перемешала пластиковые футляры. Все обошлось. Но когда в заднем зале однажды днем расположилась бездомная тетка, Наташа об этом узнала. Я понятия не имела, сколько там просидела та женщина. Возможно, посетители принимали ее за элемент инсталляции. В конце концов, я заплатила ей пятьдесят баксов из лежавшей в галерее мелочи, чтобы она ушла. Наташа не могла скрыть раздражения.

– Когда сюда приходят люди, ты должна общаться с ними от моего имени и произвести впечатление. Ты знаешь, что на прошлой неделе тут был Артур Шиллинг? Он мне только что звонил. – Она наверняка считала, что я сижу на наркотиках.

– Кто?

– Господи. Изучай списки. Изучай фотографии известных мастеров, – воскликнула она. – Где упаковочный лист для барона? – Et cetera, et cetera.

Этой весной галерея устроила первый соло-вернисаж Пин Си – «Боувоувоу», – и Наташа следила за всеми деталями. Вероятно, она уволила бы меня раньше, если бы не была сильно занята.

Я как могла демонстрировала интерес и скрывала свой ужас, когда Наташа рассуждала о «собачьих экспонатах» Пин Си. Он таксидермировал породистых собак: пуделя, шпица, шотландского терьера, черного лабрадора, таксу. Даже маленького щенка сибирской хаски. Он долго работал над этим. Они с Наташей сблизилась, поскольку его эякуляционные картины отлично продавались.

Во время инсталляции я подслушала, как один из практикантов шептал электрику:

– Ходят слухи, что художник берет собак щенками, выращивает их, потом убивает, когда они достигают определенного роста. Он запирает животных в большую морозильную камеру, потому что это самый гуманный метод эвтаназии, который не портит их экстерьер. Когда они оттаивают, он может зафиксировать их в любой позе, как захочет.

– Почему же он не травит их, не ломает шею?

Мне показалось, что такие слухи недалеки от действительности.

Когда собаки были установлены, провода подсоединены, вся электрика включена в сеть, Наташа погасила свет и включила каждую собаку. Из глаз несчастных выстрелили красные лазеры. Я гладила черного лабрадора, пока уборщицы подметали выпавшую собачью шерсть. Его морда была шелковистой и холодной.

– Пожалуйста, не надо гладить, – неожиданно сказал в темноте Пин Си.

Наташа взяла его за руку и принялась ворковать, что она готова к парочке протестов общества защиты животных и к статье в «Нью-Йорк таймс», что информационный шум дороже золота. Пин Си бесстрастно кивал.

В день открытия я притворилась больной. Казалось, Наташе было все равно. Она посадила на мое место Анжелику, анорексичную старшекурсницу Нью-Йоркского университета. Шоу имело «брутальный успех». Как написал один критик, «жестoko и забавно». Другой заметил, что работы Пин Си «знаменуют конец священного в искусстве. Этот извращенный ублюдок вытаскивает на свет дерьмо. Его уже называют новым Марселем Дюшаном. Но представляет ли интерес его вонь?».

Не знаю, почему я просто не уволилась. В деньгах я не нуждалась. Когда наконец в июне Наташа позвонила из Швейцарии и сообщила, что увольняет меня, я испытала облегчение. Вроде я накосячила с отправкой материалов прессы для ярмарки современного искусства «Арт Базель».

- Мне просто любопытно, на что ты подседа? - поинтересовалась она.

- Я просто реально устала.

- Что-то со здоровьем?

- Нет, - сказала я. А ведь могла бы наврать. Могла бы сказать, что у меня мононуклеоз или просто нарушение сна. Даже рак. Ведь все болеют раком. Но оправдываться было бесполезно. У меня не было веской причины цепляться за эту работу. - Ты отпускаешь меня?

- Я бы хотела, чтобы ты осталась до моего возвращения и за это время передала Анжелике все дела, показала файлы, ну, и все, что ты делаешь на компьютере, если делаешь.

Я нажала отбой, взяла горсть бенадрила, спустилась в кладовку и заснула.

Ох, сон. Ничто на свете не способно доставлять мне такое удовольствие, давать такую свободу, такие силы, чтобы чувствовать, двигаться, думать и мечтать, защищая от несчастий, подстерегающих в реальной жизни. Я не нарколептик - я никогда не сплю, когда не хочу этого. Скорее я сомниак. Сомнофил. Я всегда любила спать. Мы с матерью всегда наслаждались сном вместе, когда я была ребенком. Она была не из тех, кто мог сидеть и смотреть, как я рисую, или

читать мне книжки, или играть со мной, или ходить на прогулку в парк, или печь печенье. Лучше всего мы с ней ладили, когда спали.

Когда я училась в третьем классе, моя мать, из-за какого-то молчаливого конфликта с отцом, позволила мне спать с ней в их постели, потому что, как она сказала, ей было проще будить меня по утрам – не приходилось вставать и проходить через холл. В тот год у меня набралось тридцать семь опозданий и двадцать четыре пропуска занятий. Тридцать семь раз мы с матерью просыпались вместе в семь утра, налитые свинцом и обессиленные, пытались встать, но падали на подушки и спали дальше под миганье мультиков на экране маленького телевизора на прикроватной тумбочке. Просыпались через несколько часов – шторы опущены, подушки на грубом бежевом ковре, – одевались в тумане и забирались в машину. Я помню, как она одной рукой разлепляла глаза, а другой удерживала руль. Я часто гадала потом, что с ней было в том году и не передала ли она мне тогда любовь к сну. Двадцать четыре раза мы просыпали звонок будильника, вставали после полудня и совершенно забывали о школе. Я целый день ела мюсли, читала или смотрела телек. Моя мать курила сигареты, разговаривала по телефону, тайком от нашей экономки брала бутылку вина с собой в ванную, ложилась в пенную воду и читала Даниэлу Стил или «Лучшие дома и сады».

В том году отец спал на софе в своем кабинете. Помню, его очки с толстыми стеклами поблескивали над дубовым столом, а их засаленные линзы увеличивали темное зерно древесины. Без очков я бы, вероятно, его и не узнала. Он был очень невзрачный – редящие темно-русые волосы, рыхлые щеки, одна тревожная морщина, глубоко врезавшаяся в лоб. Морщина придавала ему озадаченный, но пассивный вид, как у человека, неожиданно попавшего в ловушку. Мне он казался ничтожеством, чужим человеком, потихоньку жившим в доме с двумя странными особами женского пола, понять которых он даже не надеялся. Каждый вечер он плюхал таблетку алкозельцера в стакан воды. Я стояла и смотрела, как она растворялась. Помню, я слушала шипенье, а он молча снимал подушки с софы и складывал в углу. Его скучная, бесцветная пижама волочилась по полу. Может, тогда он и заболел раком – несколько неправильных клеток сформировались во время неудобного ночного сна в гостиной.

Отец никогда не был ни моим союзником, ни поверенным, но тогда мне казалось, что этот много работавший человек был сослан на софу несправедливо, в то время как моя ленивая мать захватила огромную кровать. Я осуждала ее за это, но она словно обладала иммунитетом к ощущению вины и стыда. Думаю, ей

многое сходило с рук благодаря ее красоте. Она выглядела как Ли Миллер, если бы Ли Миллер была домашней пьяницей. Вероятно, она винила моего отца, что он разрушил ей жизнь: она забеременела и бросила колледж, чтобы выйти за него замуж. Конечно, это было не обязательно. Я родилась в августе 1973 года, через семь месяцев после решения Верховного суда по делу Роу против Уэйда, снявшего запрет на аборт. Ее семья была типичной для загородного клуба южных баптистов, не чуравшихся алкоголя, – лесорубы с Миссури с одной стороны, нефтяники из Луизианы – с другой, – иначе, как я предполагаю, она бы от меня избавилась. Отец был на двенадцать лет старше матери. Ей было всего девятнадцать, и она была уже четыре месяца беременная, когда они поженились. Я вычислила это, как только научилась считать. У нее отвисла кожа, появились растяжки, шрамы на животе; по ее словам, она выглядела так, словно енот выгрыз у нее кишки. При этом она сердито смотрела на меня, как будто я нарочно обмотала себе шею пуповиной. Может, и нарочно.

– Ты была синяя, когда меня разрезали и тебя вытащили. После того ада, через который я прошла, после всех этих обстоятельств, каково было бы, если бы ребенок взял и умер? Это все равно что уронить пирог на пол, как только вытащишь его из духовки.

Единственным интеллектуальным упражнением моей матери было разгадывание кроссвордов. Иногда она выходила из спальни среди ночи, чтобы спросить что-то у отца.

– Не говори мне ответ. Просто скажи, на что походит это слово, – говорила она. Будучи профессором, отец умел так направлять людей, чтобы они сами находили решение. Он был бесстрастным, мрачноватым, иногда даже чуть язвительным. Я похожу на него. Мать когда-то говорила, что мы с ним «каменные волки». Но у нее самой аура тоже была холодная. Кажется, она этого не сознавала. Ни у кого из нас не было в сердце тепла. Мне никогда не позволяли заводить домашних питомцев. Иногда мне кажется, что щенок мог бы все переменить. Мои родители умерли один за другим, когда я училась на первом курсе колледжа: сначала отец от рака, а через шесть недель мать от таблеток и алкоголя.

Все это, все мое трагическое прошлое обрушились на меня с огромной силой в тот вечер, когда я последний раз проснулась в кладовой «Дуката».

Было уже десять часов вечера, и все разошлись по домам. Я поднялась по темной лестнице, чтобы освободить стол. У меня не было ни грусти, ни сожалений, только досада, что я потратила столько времени на никчемную работу, когда могла просто спать и ничего не чувствовать. Я по своей глупости верила, что работа добавит моей жизни какую-то ценность. В комнате отдыха я нашла сумку из супермаркета и сунула в нее мою кофейную кружку, смену одежды, которую хранила в ящике стола вместе с новыми туфлями на высоком каблуке, трусиками, бюстгальтером пуш-ап, косметикой и порцией кокаина, к которому я не притрагивалась уже год. Я прикинула, не стащить ли мне что-нибудь из галереи – фото Ларри Кларка в офисе Наташи или нож для резки бумаги. Остановилась на бутылке тепловатого шампанского – именно это мне и требовалось для утешения.

Я выключила повсюду свет, поставила галерею на охрану и вышла. Был прохладный июньский вечер. Закурив сигарету, я стояла, глядя на галерею. Лазеры были выключены, но через стекло я видела высокого белого пуделя, который смотрел на тротуар. Он скалил зубы; в свете уличного фонаря сверкал золотом его клык. На короткой шерсти был повязан красный бархатный бант. Внезапно во мне зашевелилось странное чувство. Я пыталась его прогнать, но оно поселилось у меня внутри.

– Домашние питомцы всегда приносят в дом грязь. Я не хочу ходить по комнатам, вынимая из зубов собачьи волосы, – так всегда говорила мать.

– Даже золотую рыбку мне нельзя?

– Зачем? Просто чтобы смотреть, как она плавает и умирает?

Может, это воспоминание вызвало всплеск адреналина, и он подтолкнул меня снова зайти в галерею. Я вытащила несколько салфеток «Клинекс» из коробки на моем бывшем столе, щелкнула тумблером, чтобы включить лазеры, и встала между чучелами черного лабрадора и спящей таксы. Затем я спустила штаны, присела на корточки и насрала на пол. Подтерлась, прошаркала через галерею с болтавшимися на лодыжках штанами и сунула салфетку с говном в пасть пуделя. Это стало моим возмездием. Теперь я попрощалась с галереей по-настоящему. Я вышла, поймала кеб, выпила дома бутылку шампанского целиком и заснула на софе, просматривая по виду «Воровку». По крайней мере, ради Вупи Голдберг можно было продолжать жить.

На следующий день я подала заявку на пособие по безработице, что не понравилось бы Наташе. Но она больше мне не звонила. Я оформила еженедельную стирку белья в прачечной и подключила автоплатеж на все коммунальные услуги, купила множество использованных видеокассет в благотворительном магазине Еврейского женского совета на Второй авеню и вскоре уже глотала пилюли и спала целыми днями и ночами с двух- или трехчасовыми перерывами бодрствования. Мне казалось, что это было хорошо. Я наконец-то делала то, что реально имело смысл. Сон казался мне продуктивным. Что-то отсортировывалось. В глубине души я знала, и это было, пожалуй, единственное, что я тогда знала, – что, когда достаточно посплю, все придет в норму. Я стану новой, цельной личностью, все мои клетки регенерируются настолько, что старые клетки останутся лишь в далеких, туманных воспоминаниях. Моя прежняя жизнь покажется сном, и я без сожалений начну новую в блаженстве и покое, которые накопятся, аккумулируются у меня за этот год отдыха и релакса.

Глава вторая

Поначалу я посещала доктора Таттл раз в неделю, но после ухода из «Дуката» мне расхотелось так часто путешествовать до Юнион-сквер. Поэтому я сказала ей, что теперь «фрилансирую в Чикаго» и могу показываться у нее раз в месяц. Она ответила, что мы можем еженедельно общаться по телефону, но можем и не общаться, если я дам ей авансом чеки, выписанные заранее, на мою долю оплаты. «Если твой страховщик спросит, скажи, что ты бываешь тут лично. На всякий случай». Она не догадывалась, что я от ее имени звонила в местную аптечную сеть «Райт эйд» на Манхэттене для пополнения запасов лекарств. Она не интересовалась моей работой в Чикаго или тем, что я там делала. Доктор Таттл ничего не знала о моем проекте зимней спячки. Я хотела, чтобы она считала меня ужасно нервной, но абсолютно дееспособной и чтобы она прописывала все, что, по ее мнению, могло сильнее всего меня отключить.

Я всецело погрузилась в сон, когда все это наладила. Настало восхитительное время в моей жизни. Я была полна надежд. Я чувствовала, что иду по пути величайшей трансформации.

Первую неделю я провела в мягкой сумеречной зоне. Я не покидала квартиру даже ради кофе. Я поставила возле постели банку с орехами макадамия и ела их понемножку, когда выплывала на поверхность, пила из бутылки воду «Поланд спринг» и, может, раз в день наведывалась в туалет. Я не отвечала на звонки телефона, хотя мне никто, кроме Ривы, и не звонил. Она оставляла мне сообщения, такие длинные, без точек и пауз, что они обрывались на середине фразы. Обычно она звонила из гимнастического зала, когда занималась на вращающейся лестнице «Стэйр мастер».

Однажды вечером Рива неожиданно прискакала ко мне. Консьерж сказал ей, что я, скорее всего, уехала из города.

– Я беспокоилась, – сказала Рива, вваливаясь в дверь с бутылкой розового игристого. – Ты заболела? Ела хоть что-нибудь? Ты взяла отгулы?

– Просто уволилась, – солгала я. – Хочу посвящать больше времени моим собственным интересам.

– Каким интересам? Я и не знала, что у тебя есть интересы. – Она произнесла это как человек, которого чудовищно обманули. Потом слегка пошатнулась на своих каблуках.

– Ты выпила?

– Ты правда ушла с работы? – спросила она, сбрасывая туфли и шлепаясь в кресло.

– Я лучше буду есть дерьмо, чем проработаю еще хотя бы день у этой сучки, – сказала я.

– Разве ты не говорила, что она была замужем за князем или кем-то типа того?

– Говорила, – ответила я, – но это были только слухи.

– Так ты не больна?

– Я отдыхаю. – И я демонстративно легла на софу.

– Это понятно, – проговорила Рива, послушно кивая, хотя я заметила промелькнувшее в ее глазах подозрение. – Сделай передышку и подумай, что будешь делать дальше. Опра говорит, мы, женщины, торопимся с решениями, поскольку не верим, что у нас когда-нибудь будут лучшие времена. И из-за этого влипаем в разные неприятности типа неудачного брака или скучной работы. Аминь!

– Плевать мне на карьеру. – Я было принялась что-то ей объяснять, но раздумала. – Беру отпуск на год. Собираюсь отоспаться.

– Как же ты будешь это делать?

Я достала пузырек ативана, лежавший между подушками софы, отвинтила крышку и вытащила две таблетки. Краем глаза я видела, как Рива поежилась. Я разжевала таблетки – просто чтобы шокировать ее, – проглотила и завинтила крышку, снова сунула флакон в подушки, легла на спину и закрыла глаза.

– Ладно, я рада, что у тебя есть жизненный план. Но, если честно, – начала Рива, – меня беспокоит твое здоровье. Ты похудела на три фунта, не меньше, с тех пор как начала жрать эти лекарства. – Рива была экспертом в оценке веса людей и предметов. – А что дальше? Ты собираешься принимать таблетки всю оставшуюся жизнь?

– Я не загадываю так далеко вперед. Может, я столько и не проживу. – Я зевнула.

– Не говори так, – попросила Рива. – Посмотри на меня. Пожалуйста.

Я открыла глаза и повернулась к парфюмерному туману в моем кресле. Я прищурилась и сфокусировала взгляд. На Риве было платье из прошлогоднего каталога «Джей Крю»: платье-рубашка из чесучи розового оттенка или, скорее, цвета ириски. Оранжевая помада.

– Не оправдывайся, но в последние дни ты какая-то не такая, – сказала она. – Ты вроде как не в себе. И все худеешь. – Думаю, что это беспокоило Риву больше

всего. Вероятно, она подозревала, что я жульничаю в игре на похудение, которое всегда давалось ей с огромным трудом. Мы с ней были почти одного роста, но я носила второй размер, а Рива четвертый. «А при месячных вообще шестой», – вздыхала она. В мире Ривы несоответствие между нашими фигурами было огромным.

– Я не думаю, что спать целыми днями полезно, – заметила она, бросая в рот несколько пластинок жвачки. – Может, тебе просто требуется жилетка, чтобы выплакаться. Ты удивишься, насколько тебе станет легче после рыданий. Это лучше любых таблеток. – Когда Рива давала советы, они звучали так, словно она читала наспех состряпанные титры для телефильма. – Прогулка вокруг квартала сотворит чудеса с твоим настроением, – сказала она. – Ты есть-то хочешь?

– Мне не до еды, – ответила я. – И я не хочу никуда идти.

– Иногда надо перешагивать через «не хочу».

– Доктор Таттл, между прочим, может и тебе что-нибудь прописать, чтобы ты избавилась от пристрастия к жвачке, – вяло сообщила я. – У нее есть лекарства от чего угодно.

– Я не хочу избавляться от этого, – ответила Рива. – И это не пристрастие, не зависимость. Просто привычка. Мне очень нравится жевать резинку. Это одна из немногих вещей в жизни, позволяющая мне хорошо себя чувствовать, поскольку я это делаю ради собственного удовольствия. Жвачка и гимнастический зал – вот моя терапия.

– Но ты могла бы принимать вместо этого таблетки, – возразила я. – Тогда ты избавишь свою челюсть от непрерывного жевания. – Впрочем, меня не беспокоила челюсть Ривы.

– У-гу, – кивнула Рива. Она смотрела на меня, но сама была так занята жеванием, что ее сознание, казалось, куда-то уплывало. Когда оно вернулось к ней, она встала, выплюнула жвачку в кухонную корзину для мусора, вернулась, легла на пол и принялась ритмично хрустеть суставами, а ее платье при этом морщилось на бедрах. – Каждый по-своему справляется со стрессом, – сообщила она и закурлыкала о плюсах привычных действий. – Неплохо успокаивает, – сказала она. – Вроде медитации. – Я зевала и уже ненавидела ее. – Если ты будешь спать

все время, это не поможет тебе чувствовать себя лучше, – заявила она. – Потому что во сне ты ничего не изменишь. Ты просто на время спрячешься от проблем.

– Каких проблем?

– Я не знаю. По-моему, ты думаешь, что у тебя полно проблем. А я просто не понимаю. Ты умная девушка, – сказала Рива. – Ты можешь делать все, что тебе интересно. – Она встала и выудила из сумочки блеск для губ. Я видела, какими глазами она смотрела на запотевшую бутылку розового. – Пожалуйста, пойдём со мной сегодня вечером! Мой друг Джеки с пилатеса отмечает день рождения в гей-баре в Виллидже. Я не собиралась идти, но если ты присоединишься ко мне, будет клево. Сейчас всего семь тридцать. К тому же вечер пятницы. Давай сейчас выпьем это и пойдём. Вечер только начинается!

– Я устала, Рива, – ответила я, сдирая пленку с пробки на флакончике найквила.

– Ой, пойдём.

– Иди без меня.

– Ты хочешь проспать тут всю жизнь? Да?

– Если бы ты знала, что это сделает тебя счастливее, разве сама не стала бы спать? – спросила я.

– Видишь? Значит, ты все-таки хочешь быть счастливой. Тогда почему говорила мне, что глупо быть счастливым? – спросила она. – Ты не раз так говорила.

– Позволь мне быть глупой. – Я налила себе найквил. – А ты будь умной, потом расскажешь мне, как это здорово. Я буду тут, буду зимовать в спячке.

Рива закатила глаза.

– Это естественно, – добавила я. – Люди всегда много спали зимой.

– Люди никогда не впадали в спячку. С чего ты взяла?

Она выглядела комично, когда злилась. Она вскочила и теперь стояла, держа свою дурацкую стильную сумочку «Кейт Спейд» или типа того, волосы стянуты сзади в хвост и увенчаны бесполезной пластиковой головной повязкой «под черепаху». Она всегда укладывала волосы феном, выщипывала брови, превращая их в тонкие дуги, ногти красила разными оттенками розового и лилового, словно все это делало ее особенной.

– Это не обсуждается, Рива. Я просто это делаю. Если ты не можешь это принять, то и не надо.

– Я принимаю, – сказала она упавшим голосом. – Но все же думаю, что жалко пропускать такой забавный вечер. – Она впихнула свои белые ступни в поддельные лабутены на шпильке. – Знаешь, в Японии фирмы оборудуют специальные комнаты для сна, чтобы бизнесмены могли спать. Я читала об этом в журнале «Джи-Кью». Я загляну к тебе завтра. Пока, дорогая, – сказала она и пошла к двери, прихватив по пути бутылку розового.

Я много спала в начале, особенно когда на город с полной силой обрушилось лето и воздух в моей квартире загустел от противного холода кондиционера. Доктор Таттл говорила, что мои сны могут служить индикаторами эффективности некоторых лекарств. Она предлагала мне вести дневник снов, чтобы проследить «уменьшающуюся интенсивность страдания».

– Мне не нравится термин «дневник снов», – сказала она на нашей личной встрече в июне. – По-моему, лучше «дневник ночных видений».

Так что я делала записи на стикерах. Каждый раз, просыпаясь, я царапала все, что могла вспомнить. Позже я копировала эти корявые записи снов в желтый, приличный блокнот, добавляла ужасные подробности, чтобы передать все доктору Таттл в июле. Я надеялась, что она сочтет нужным добавить мне седативов. В одном сне я пришла на вечеринку на круизное судно и наблюдала, как вдали кружил одинокий дельфин. Но в дневнике снов я сообщила, что была на «Титанике», а вместо дельфина написала про акулу, которая была одновременно Моби Диком и Диком Трейси, а также твердым, воспаленным пенисом, и пенис держал речь перед толпой женщин и детей, качаясь, как маятник. «Потом я салютовала всем нацистским приветствием и прыгнула за борт, а остальные подверглись экзекуции».

В другом сне я потеряла равновесие, стоя в мчавшемся поезде подземки, «и случайно схватилась за волосы какой-то старушки и вырвала их. Ее скальп кишел личинками, и все личинки грозили меня убить».

Еще мне снилось, что я въехала на ржавом «мерсе» на Эспланаду возле Ист-Ривер, а под колеса падали костлявые бегуны, испанские экономки и игрушечные пудели, и мое сердце взрывалось от счастья от вида всей этой крови».

Мне снилось, как я прыгнула с Бруклинского моста и нашла заброшенную подводную деревню – ее жители услышали, что где-то в другом месте жизнь лучше. «Огнедышащий дракон выпотрошил меня и, чавкая, съел мои внутренности». Мне приснилось, что я украла чью-то диафрагму и сунула в рот, «прежде чем сделать минет моему консьержу». Я отрезала себе ухо и послала его по электронной почте Наташе вместе со счетом на миллион долларов. Я проглотила живую пчелу. Я ела гранату. Я купила пару красных замшевых ботинок и прошлась в них по Парк-авеню. Решетки были забиты абортированными плодами.

– Ой-ой, – произнесла доктор Таттл, когда я показала ей «дневник». – Похоже, ты все еще в омуте отчаяния. Давай увеличим дозы солфотона. Но если тебе станут сниться кошмары про неодушевленные предметы, которые оживают, или если ты начнешь видеть нечто подобное в часы бодрствования, прекрати прием.

Еще были сны про моих родителей, о которых я никогда не упоминала доктору Таттл. Мне приснилось, что у моего отца был незаконнорожденный сын, который жил в шкафу в его кабинете. Я обнаружила бледного, истощенного мальчика, и вместе мы задумали сжечь дом. Мне снилось, что я намылила под душем лобок моей матери светлым куском мыла, потом вытащила комок волос из ее вагины. Он был похож на пучки шерсти, вроде тех, что отпрыгивают кошки, или на комок дряни из слива ванны. Во сне я понимала, что пучок волос был отцовским раком.

Мне снилось, что я тащила мертвые тела моих родителей в овраг, потом спокойно ждала при лунном свете, когда прилетят стервятники. В некоторых снах я отвечала на телефонный звонок, но в трубке долго молчали, и это я воспринимала как безмолвное недовольство моей матери. Или я слышала потрескивание статического электричества и с отчаяньем кричала в трубку: «Мама? Папа?» – меня убивало то, что я не могла расслышать их ответы. В других снах я просто читала стенограммы диалогов между ними, напечатанные

на пожелтевшей бумаге из луковой шелухи, которая рассыпалась в моих руках. Иногда я замечала родителей в таких местах, как вестибюль моего нынешнего дома, или на ступеньках Нью-Йоркской публичной библиотеки. Мать казалась разочарованной и куда-то торопилась, словно сон оторвал ее от важного дела. «Что случилось с твоими волосами?» – спросила она меня в «Старбаксе» на Лексингтон-авеню и побежала через холл в туалет.

Отец в моих снах был всегда больным, с ввалившимися глазами и грязными пятнами на толстых линзах очков. Однажды он был моим анестезиологом. Мне ставили грудные импланты. Он после некоторых колебаний протянул ко мне руку, словно не знал точно, кто я такая и встречались ли мы раньше. Я легла на стальную каталку. Такие сны с ним были самыми огорчительными. Я в панике просыпалась, принимала усиленную дозу розерема или чего-нибудь похожего и снова засыпала.

В часы бодрствования я часто думала о родительском доме – о его потаенных уголках, о том, как какая-нибудь комната выглядела утром, днем, летом в ночной тишине, как мягкий свет уличного фонаря перед домом отражался на полированной деревянной мебели в отцовском кабинете. Консультант по недвижимости советовал мне продать дом. В последний раз я приехала туда летом после смерти родителей. У нас с Тревором был в разгаре очередной короткий раунд наших романтических отношений; мы провели выходные в Адирондакских горах и заехали на обратном пути в мой городок. Тревор остался сидеть в арендованном автомобиле с откидным верхом, а я обошла по периметру дом, заглянула в пыльные окна – повсюду пусто. Дом почти не изменился с тех пор, как я там жила. «Не продавай, пока не восстановится рынок!» – воскликнул Тревор. Меня переполняли эмоции и смущение, я убежала и прыгнула в грязный пруд за гаражом. Вынырнула, покрытая какой-то гнилой дрянью. Тревор вылез из машины, полил меня из шланга в саду, заставил раздеться и накинул мне на плечи свой блейзер, чтобы отвести к машине. На парковке возле галереи Покипси он попросил меня сделать ему минет, потом пошел покупать мне новую одежду. Я согласилась. Для него это было эротическим золотом.

Когда Тревор высадил меня возле университета, я позвонила консультанту и сказала ему, что не могу расстаться с домом.

– Подожду, пока мне не станет ясно, что я никогда не выйду замуж и не рожу детей, – сказала я. Это была неправда. И я плевать хотела и на рынок продажи

домов, и на то, сколько денег я смогу получить. Я не хотела расставаться с домом, как не хотят расставаться с любовными письмами. Дом был доказательством того, что я не всегда была совершенно одинокой в этом мире. Но, если подумать, я еще и цеплялась за чувство потери, пустоты в самом доме, словно подтверждавших, что лучше быть одной, чем вместе с людьми, которые по всем человеческим законам должны были любить тебя, но все-таки не могли.

Когда я была маленькой, в какие-то моменты мать позволяла мне почувствовать себя особенной; она гладила меня по голове, ее духи были сладкие и легкие, бледные, на прохладных, тонких руках звякали золотые браслеты; мне нравились ее волосы с осветленными прядями, ее помада, ее дыхание, пахнувшее дымом и вином. Но в следующий миг она уже была в тумане, отрешенная, мучимая какими-то страхами или фобиями, словно старалась привыкнуть к самому факту моего существования.

– Я не могу сейчас тебя слушать, – говорила она в такие минуты и расхаживала из комнаты в комнату, отыскивая клочок бумаги, где она нацарапала телефонный номер. – Если ты выбросила его, я тебя прокляну, – предупреждала она. Мать постоянно кому-то звонила – вероятно, очередной новой подруге. Я никогда не знала, где она знакомилась с этими женщинами, ее новыми подругами – в салоне красоты? В винном магазине?

Я могла бы совершать всякие выходки, если бы хотела. Могла бы покрасить волосы в лиловый цвет, вылететь из школы, заморить себя голодом, сделать носовой пирсинг, трахаться с кем ни попадя – да что угодно. Я видела, как это делали другие подростки, но у меня не хватало энергии на такое. Я жаждала внимания к себе, но отказывалась унижать себя просьбами об этом. Меня бы наказали, если бы я сказала родителям, что страдаю. Я точно это знала. Так что я была хорошей девочкой. Делала все правильно. Бунтовала молча, мысленно. Родители, кажется, едва меня замечали. Один раз я была в ванной и услышала, как они шептались в коридоре.

– Ты видел, что у нее на подбородке два прыща? – спросила мать у отца. – Я просто не могу на них смотреть. Они такие вульгарные.

– Сходи с ней к дерматологу, если это так тебя заботит, – ответил отец.

Через несколько дней наша экономка принесла мне тюбик клерасила. Это было проявление внимания ко мне.

В старших классах частной школы для девочек у меня была стайка почитательниц вроде Ривы. Мне подражали, обо мне сплетничали. Я была худенькая, светловолосая и хорошенькая – окружающие всегда замечают таких. Те девочки тоже обожали мою внешность, а не меня. Я научилась радоваться дешевым привязанностям, возникавшим из-за неуверенности людей в себе. Я вовремя ложилась спать. Я делала домашние задания, убирала у себя в комнате и не могла дождаться, когда вырасту и стану независимой, надеясь, что уж тогда буду чувствовать себя нормально. Я не встречалась с мальчиками до колледжа, до Тревора.

Когда подавала документы в колледж, я снова подслушала разговор родителей.

– Тебе надо прочесть ее эссе для колледжа, – сказала мать. – Мне она не хочет его показывать. Я беспокоюсь, что она попытается сделать что-нибудь креативное. В результате окажется в какой-нибудь жуткой государственной дыре.

– У меня были очень умные студенты, которые окончили государственные учебные заведения, – спокойно ответил отец. – Если ей хочется специализироваться на английском или на чем-то в этом роде, на самом деле неважно, куда она поступит.

В конце концов, я показала свое эссе матери. Я не сказала ей, что Антон Киршлер, художник, про которого я написала, придуман мной самой. Я написала, что его творчество учит «гуманистическому подходу к искусству в эру технологий». Я рассказала о различных произведениях: «Собака, писающая на компьютер», «Ланч с гамбургерами на фондовом рынке». Я написала, что это произведение мне особенно нравится, потому что мне интересно наблюдать, как «искусство создает будущее». Эссе получилось средненькое. Мать, казалось, равнодушно ознакомилась с ним, что меня шокировало, и вернула его мне, предложив поискать несколько слов в словаре, поскольку я слишком часто их повторяла. Я не прислушалась к ее совету. Я отправила эссе в Колумбийский и прошла.

Накануне моего отъезда в Нью-Йорк родители усадили меня для разговора.

– Мы с матерью понимаем, что наш долг подготовить тебя к жизни в колледже с совместным обучением, – сказал отец. – Ты когда-нибудь слышала про окситоцин?

Я покачала головой.

– Это штука, которая может довести тебя до безумия, – вступила мать, размешивая лед в бокале. – Ты потеряешь весь здравый смысл, который я так усердно прививала тебе со дня твоего рождения. – Она шутила.

– Окситоцин – гормон, выделяющийся при совокуплении, – продолжал отец, бесстрастно глядя на стену за моей головой.

– Оргазм, – прошептала мать.

– В биологическом плане окситоцин служит этой цели, – сказал отец.

– Такое теплое, пушистое чувство.

– То, что связывает пару вместе. Без этого человечество давно бы исчезло с лица земли. Женщины испытывают его действие гораздо сильнее, чем мужчины. Полезно знать это.

– Иначе тебя выкинут, как ненужный мусор, – добавила мать. – Мужчины – это кобели. Даже профессора, так что не заблуждайся.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

«Обитель радости» – роман лауреата Пулитцеровской премии Эдит Уортон (1905) о сложной и несчастливой судьбе красивой и одаренной молодой женщины. «Эпоха невинности» – также роман Э. Уортон.

Купить: https://tellnovel.com/ru/moshfeg_otessa/moy-god-otdyha-i-relaksa

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)